

ВРЕМЯ И ЧАС ПОЭТА

Диалог о герое и его времени, а также о времени и часе поэта с Евгением Евтушенко

Когда Евтушенко стоит на сцене — высокий, широкоплечий, незначительный — но вне сцены, вне стихов и вне этих часов поэзии вокруг него, как вокруг какого-нибудь знаменитого памятника архитектуры, снуют и путаются люди, одержимые страшной страстью:

постоять рядом с Евтушенкой — ткнуть ему в живот (выше не достанешь!) его же сборник стихов: «Евгений Саныч, пожалуйста!», на котором он насмешливо ставит историческую закорючку, а то еще и сфотографироваться «на память» (только на чью память?) — все равно как в Кисловодске принято фотографироваться на фоне орлов и чаи, а в Москве на безопасном давно Лооном месте или у Василия Блаженного —

так вот, когда Евтушенко стоит на сцене — высокий, напряженный, в каком-то черном — спортивном — молодом свитерке, когда поглядывает в зал светлыми драчливыми глазами, когда он хрипит, шепчет, рычит в зал свои стихи или читает их обыкновенным житейским голосом, он стоит в позе бойца: так, наверное, когда-то выходили «на кулачки». Евтушенко дорывается до зала, до людей — другого слова не подберешь. Дорывается тоже с какой-то немалой мальчишеской искренностью и безоглядностью еще молодого, еще не признанного и никому, кроме близких друзей, не известного поэта. Дорывается, как хороший грузчик до хорошей работы. Или как бегун до дорожки, готовый к аплодисментам, как к выстрелу черного пистолета, готовый к марафону и на два, и на три часа — пока хватит дыхания. Не потому, что это будут именно его стихи, которые, как вещают афиши, читает автор — точно так же он читал бы Маяковского или Пушкина, а потому, что предстоит ПОЭЗИЯ, которой безразличны имена. Вот почему нет ни поэты, ни актерства в его хрипе, шепоте, рычании, юморе, сарказме, в беспощадности к себе и в той боли, которая была уже в ранних его стихах и была открыта каждому.

Во всем этом — то же по-мальчишески страстное и упрямое: «Граждане, послушайте меня!»

И они слушают — почти в абсолютной тишине. Но вот почему граждане слушают? Какую-то особую истину несет поэт, о которой бы не знали все остальные? Почему он сообрает — нет, не толпы, целые стадаоны граждан, которые «хочут» его слушать? И что, собственно, может и умеет поэт, кроме правды? И почему нужно еще и еще раз — и про Стеньку Разина, и про свадьбы сорок первого года, и про очереди, и про Чили, и про Сибирь, и про юношеский парус, и про молодой ветер истории...

— А мне неинтересен поэт, газетчик, писатель, если он пишет или только про деревню — «деревенщик», или только об истории, или только о физиках, или только на высокие темы международной политики. Я глубоко уважаю журналиста Ярослава Голованова — именно за то, что он пишет, ощущает потребность писать не только о космосе, но и о горчице, и о детских колготках! Мне интересно, конечно, что думает Пикуль о временах Анны Иоанновны — но мне бы очень хотелось узнать, что думает он о наших временах! Мне, конечно, любопытно прочесть статью Юлиана Семенова о ФРГ — но мне безразлично знать, что его интересует и наша обычная сибирская деревня.

Недавно один из наших известных писателей вернулся из Англии. Мне интересно знать, что думает и что напишет этот человек об Англии — но, оказавшись, писать он не собирается: не считает себя «специалистом»! А мне — и как читателю, и как гражданину — совершенно неинтересен такой «узкий специалист»! Что же получается? Что мы расчлняем живое тело действительности на сегменты — на литературу деревенскую и городскую, на студенческую и производственную — и так далее. У нас появились свои «узкие специалисты» — по деревне, по городу, по истории, по нравственности, по производительности труда. Между тем литература — это такая специальность, которой противопоставлена любая узкая специализация! Если бы Лев Толстой писал о войне 1812 года как «узкий специалист», с точки зрения, например, артиллериста, у нас никогда бы не было народной эпопеи «Война и мир». В живой жизни круто пе-

ремешано все: смерть деревенской старухи и открытие ученых Дубны, переворот в Чили и события на неизвестной станции Зима. Поэту, писателю нужна вся жизнь, нужна в этой жизни открытая позиция. Он должен писать о современности сейчас, сегодня.

— Но ведь сказано: лицом к лицу лица не увидать...

— Конечно, какие-то события требуют времени, осмысления: эпопею «Война и мир» создавал не участник событий, а далекий потомок. Но: Твардовский создавал своего Теркина лицом к лицу со своим курносый и веснушчатый героем, и Вабель писал «Конармию» лицом к лицу с гражданской войной, и не стоит ссылаться на классиков — прежде всего для своего времени были написаны и «Анна Каренина», и «Воскресенье», и «Бесы», и «Отцы и дети».

Классики как раз отличались оперативностью. Писатель не имеет права быть неповоротливым и нравственно сытым. Он должен успевать за своим временем, он должен выбрать в нем свой час — иначе завтра будет поздно, завтра придут другие люди, другие проблемы, другие герои.

Героев, какие бы они ни были, не всегда встречают цветами и музыкой, иногда их не хотят узнавать.

Когда Е. Евтушенко однажды читал в молодежной аудитории главы из своего нового романа «Ягодные места» и ту из новелл, где речь идет о молодом циннике и карьеристе Юрии Селезневе, аудитория восприняла этот образ как слишком прямолинейный выпад, как «газетный фельетон».

— А чем плох газетный фельетон? В поэзии и прозе должна присутствовать эта «газетная» злободневность, острота. Как писатель будет счастлив, если имя Юрия Селезнева станет нарицательным, если им будут называть одержимых карьерой и не оременных совестью молодых людей, которые, правда, достаточно умны, чтобы не афишировать свой цинизм — и потому особенно опасны для общества, и потому особенно нуждаются в скальпеле писателя. Это сейчас — одна из острых наших проблем.

— Селезнев — это, так сказать, герой со знаком «минус», доказательство наших нравственных норм «от противного». А есть ли в романе доказательства прямые? Есть ли в нем люди, реально противостоящие Юрию Селезневу? Ведь в них сейчас особенно остро ощущается потребность.

— Такие люди в романе есть, и их очень много — это сверстники Селезнева, у которых, в отличие от него, есть прочный нравственный запас. Но ведь вы говорите наверняка в первую очередь о героях для подражания?

— В первую очередь таких героев ждут. Ведь литература не только ищет — она создает героев. Кто-то из писателей о тургеневских женщинах сказал: не знаю, откуда он брал эти образы, но после его романов такие женщины стали появляться в России.

— «Стали появляться»? Нет, это не точно — в литературе нет ничего такого, что могло бы появиться вне реальной жизни — вот, кстати, почему так схематично и тускло получаются так называемые «люди будущего»: не из чего их пока лепить, не из чего создавать, в фантастических романах они потому и похожи на выращенных в колбе гомункулов. Тургеневские женщины в России были...

— Тургенев только «проявил» их?

— Да, он сделал их заметнее обществу — и их стали называть тургеневскими. Но роль и назначение литературы гораздо шире, чем поставять героев со знаком плюс или со знаком минус. Литература — это концентрация. Концентрация мыслей, эмоций, человеческих типов и лиц. Разобраться в человеческой душе, в любви — в этом ее нравственный долг. Понятна наша ностальгия по «сильной личности», по твердому и решительному характеру положительного героя, но с этой ностальгией надо быть осторожнее. Для меня, например, сильная личность — князь Мышкин. Это мое субъективное мнение. Если же говорить о современном герое, о том, каким он должен быть... Прежде всего таким же, как и обычный человек сегодня, — добрым. Но не просто добрым. Доброта без силы — беззащитна, сила без доброты — социально опасна. И героя, конечно, надо искать, с героем нельзя запаздывать.

— А пока в литературе получается, как

в юношеском кинематографе: пока снимают фильм о молодежи 60-х годов, пока его «обкатывают», он приходит уже к другому поколению, у которого все другое — и мысли и интонации, и ритмы, и джинсы, и которому, конечно, проблемы десятилетней давности неинтересны. Наверное, час героя — это и есть час поэта: без «Героя нашего времени» не было бы Лермонтова. Лермонтова как гражданина.

— Вот! Гражданственность поэта, открытость и ясность его позиции, его любовь и ненависть, его боль и мужество — вот что делает поэта поэтом. Нужна личность! Мастерство — это дело наживное, оно придет, но личность, если ее нет с самого начала, не появится потом ни в каких литинститутах. Либо она есть — либо ее нет. Именно это, а не прописные истины о том, что вот это хорошо, а вот это плохо, делают жизнь поэта и его творчество нравственным. А я давно, вот уже как лет двадцать, читаю «молодых» — и не могу назвать ни одного имени. Культура стихотворчества, безусловно, выросла. Но мне неясно и неясно самому этому человеку, который пишет стихи: что он любит? что ненавидит? как он относится к революции? к истории своей страны и к тому, что происходит сейчас? Размытость нравственных позиций, мимикрия под гражданственность, дефицит гражданственности, дефицит в самой личности поэта, явное желание избегать острых тем — вот это тревожно.

Наверное, поэтому Евтушенко выходит на сцену так, как когда-то, должно быть, выходили «на кулачки». За тридцать лет в поэзии было написано много, по-разному, как и в жизни, было все, но одно оставалось непреходящим — та боль, которая была уже в ранних стихах и была открыта каждому, и эти ранние стихи, как молодые ветки под чистым, остро блестящим свежим снегом, прогибались под тяжестью этой боли и, как ветки морозом, были целком схвачены ею. Когда Евтушенко еле слышно, словно не залу, а кому-то одному, может быть, только себе, говорит: «Мне страшно. Мне не плевать, но не плясать — нельзя». — руки с точностью хирурга или скульптора отсекают от себя и от зала все лишнее, все фальшивое, все инанское, и само это словно припечатанное к славе имя «Е. ЕВТУШЕНКО» без остатка растворяется в том, о чем этот человек с мальчишескими драчливыми глазами читает со сцены, — о Родине, о проходимом дворе детства и поэзии, об обычных работагах, жаждущих пивка или рассказывающих байки, об общих вагонах, о женщинах и друзьях, о пассажирах общественного транспорта. У гражданственности нет и не может быть «мелких» тем — они существуют только для чиновников от поэзии, потихоньку себе пишущих благополучные отчеты о жизни — в столбик и в рифму.

— У вас есть такое словечко: «какбычегоневышлястика»...

— И как оно нам здорово мешает! Как ловко прикрывает стражей общественных интересов собственную неадекватность и неповоротливость! Как часто мы «стыдливо», а по сути, трусливо умалчиваем о том, о чем надо говорить, и тем самым даем радостную возможность нашим идеологическим противникам говорить о наших проблемах и просчетах первыми. Надо помнить о том, что любое белое пятно на карте нашей истории или литературы тут же превращается в жирное пятно антисоветизма. Между тем Владимир Ильич Ленин, который в графе о своей профессии написал: «литератор», дал нам образцы гражданского мужества, активного вмешательства в жизнь — именно Ленин говорил о наших проблемах и недостатках вслух, всенародно, говорил нервы — и тем самым выбивал почву из-под ног врагов революции. И нам постоянно нужна такая ленинская гражданская смелость.

— Вы как-то говорили о дефиците нравственном, о моральной бесхозяйственности...

— И эта бесхозяйственность — самая опасная. Как-то на Центральное телевидение пришло письмо от девушек из Чебоксар с просьбой: выслать рецепт изготовления мыла... в домашних условиях. Чего после этого стоят наши дискуссии о нравственности и о гражданственности, об активном или созерцательном герое, если мы не можем обеспечить девушек из Чебоксар самым необходимым для нормальной жизни? И ведь это не двадцать лет, когда были объективные трудности — это час-то



головотяпство, чья-то не просто экономическая — преступная моральная бесхозяйственность! Когда молодой рабочий парень с КамАЗа на «черном рынке» в Москве платит за томик Пастернака сто рублей, этим нужно не умиляться — вот как, дескать, выросли духовные потребности нашего рабочего, ему уже не джинсы, а Пастернака подавать, — надо не умиляться этому, а называть конкретные люди за то, что они допускают этот моральный, духовный дефицит. В гражданственности нет и не может быть «мелочей» и какими-то описаниями природы и никаким «погружением» в историю не покроешь дефицит гражданственности. Ведь Пушкин, Лермонтов, Есенин — это не только гениальные поэты, они для нас живые люди, мы все про них знаем — чего не скажешь, к сожалению, о многих современниках. А ведь каждому поколению нужен свой ветер истории, свой парус при ветре и свой, разумеется, герой. Я, например, не уверен, что точно пойму сегодняшнего двадцатилетнего человека — мне это будет сделать труднее, чем его поэтическому ровеснику.

— Но где они, эти ровесники? Все же, кому сегодня двадцать и немногим больше, продолжают в незаполненном вакууме читать «молодые» и «старые» стихи предыдущего поколения — Вознесенского, Окуджавы, Ахмадулиной, Евтушенко...

— А ведь это плохо! Плохо потому, что у каждого поколения должен быть свой голос. Смена лидеров закономерна. Но поэт не должен зависеть ни от славы, ни от моды — он должен честно делать то, что считает нужным.

А люди подсознательно ждут от поэта того, что уже было. Вариаций его молодости, разве что тональностью повыше или пониже. В нас глубоко сидит эта инерция, в которой мы себе не признаемся: мы уже привычно «разносили» стихи, когда-то и необычные, и крамольные, и обруганные, а потом обласканные критикой — разносили, как когда-то жмушье, натирающие мозоли новые неудобные туфли, к которым уже привыкли настолько, что они стали частью нас самих, частью неуютной молодости, о которой приятно вспомнить, но которую невозможно повторить — да и лень, открыто говоря, и не хочется. Когда поэт выходит за рамки нашего привычного разностепенного ожидания, он уже и пишет «не то», и «хуже», хотя это не хуже и не лучше — это просто по-другому.

— Замечали ли вы, как зад вместе с вами шепчет заучено строчки знакомых стихов, покачивает в такт головой, а самые священные читают стихи вашим же голосом и вашей интонацией...

— Да, люди ждут того, что уже было — это верно. Но они же этого и не любят! Также подсознательно они ждут от поэта нового! Нового прыжка. А прыжок с разбега в высоту — это бывает только один раз: в молодости. Тогда ты сразу берешь планку чемпиона — и гордо ходишь в победителях. Но недолго. Потом начинается самое тяжелое: борьба идет уже за миллиметры. Затяжная многолетняя борьба за каждый из них. Потому что нет в поэзии былых заслуг, нет почетных и пожизненных званий — каждую ее высоту, самую небольшую, надо отвоевывать. У времени, у собственной лени. Поэт не имеет права быть нравственно сытым. Он должен услышать свой час и слышать свое время.

Беседу вела Н. АИРАПЕТОВА.